
ГЛЕБ ШУЛЬПЯКОВ



ОГОНЬ ЛЮБВИ

Две новеллы из романа «Красная планета»

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

На том берегу виднеется пристань и свечка храма. Звон колоколов смешивается с гулом машин на мосту. Утро солнечное и холодное, резкий ветер. Облака поднимаются, как зиккураты.

Я возвращаюсь в номер и сажусь у телефона. Все-таки надо дозвониться до Зонтикова, рассказать ему о вчерашней неудаче. Под Нерехтой, куда мы так и не проехали, служил мой прапрадед Платон Введенский, говорю я. Ну, предположительно — по епархиальным спискам, или тезка. А его сын, мой прадед то есть, получил приход под Костромой в Самети. Почему, спрашивается?

Зонтиков говорит с одышкой. Нет, говорит он (пауза). Вряд ли чем-то смогу помочь (пауза). Таких погостов и священников было сотни. Хотя (в трубке звякает) — выпускник семинарии часто женился на дочке какого-нибудь старого священника (пауза). Чтобы получить приход в «приданое». Может быть, это ваш случай? Нет, встреча невозможна, он плохо себя чувствует. Всего хорошего.

Лучшее, что мне удалось прочитать о Костроме, написал этот самый краевед Зонтиков. Историю, в особенности Смутного времени, куда я вслед за ним погружался, он знал так, словно персонажи из школьных учебников, все эти Романовы-Шуйские-Годуновы, были его старые знакомые или родственники.

Нас познакомил отец Роман, он был настоятелем Никольской церкви — в Самети, где, как я уже сказал, служил в начале прошлого века мой прадед Сергей Введенский. Это его историю мне хотелось восстановить или хотя бы представить и принять в себя; и я своими частыми костромскими наездами, неумелыми, вслепую, розысками — пытался сделать это. Зонтиков выслушивал меня, молчал в трубку. А потом направлял в архив или к тем, кто может знать что-либо по священнической части. На твердых и ломких от времени страницах мне и в самом деле удавалось кое-что выяснить. Например, что прадед закончил Ярославскую семинарию, имелась даже точная дата, но как попал в Саметь? Это оставалось неясным. Может, действительно, женился на поповской дочке.

Он получил приход при Романовых, пережил гражданскую, коллективизацию и сгинул в тюрьме перед самой войной. В обход запрета справлять требы он кого-то крестил или отпел, неизвестно, и местные тут же донесли. Уже в наше время моя мать сделала запрос и получила справку, что осуж-

Шульпяков Глеб Юрьевич — поэт, прозаик. Родился в 1971 году в Москве. Автор нескольких книг стихотворений и прозы, в том числе романа «Музей имени Данте» (М., 2013). Живет в Москве.

денный по статье такой-то Сергей Платонович Введенский умер в Ярославской тюрьме от сердечного приступа в 1941 году. Место его захоронения неизвестно, а вот Никольский храм и могила его матушки Екатерины (моей, значит, прабабки) — сохранились. И со всем этим прошлым, неожиданно обрушившимся на меня, надо было что-то делать.

Свой первый приезд в Саметь я хорошо помню, каким холодом и пустотой это заснеженное, с прилепившимся на берегу храмом, село встретило нас; и сам храм, по окна заваленный снегом, и тоскливые крики галок над крестами, и такое же тоскливое, удушающее в своей белой огромности поле Волги. Как растерянным я был, насколько лишним себя почувствовал. Как досадовал из-за этого. Но потом выяснилось, что храм не заброшен, а действующий, и я списался с его настоятелем. Отец Роман, уральский бородач, тут же откликнулся и даже пригласил в гости. Завязалась переписка, к которой сначала подключилась матушка Елена, а потом и Зонтиков. Так история обростала жизнью; механизм, о существовании которого я не догадывался, был запущен. На Крещение мы с Юрой, моим школьным приятелем, снова поехали в Саметь, потом... Да существует ли это «потом», между прочим? — спрашивал себя Саша. — Или это свойство совершенной формы прошедшего, которая только в языке никак не заканчивается?

Эту старую фотографию Саша помнил с детства, она стояла в комнате у мамы. Невысокий, с молодой бородкой, брюнет в рясе, рядом его жена — юбка колоколом. Их головы, подпертые воротниками и как бы существующие отдельно. Напряженные, строгие лица, словно они смотрят не в камеру, а за спину: и фотографу, и тем, кто через сто лет будет разглядывать карточку. Но что, кроме фотографии, связывает нас? — спрашивал Саша. — Если между той и этой страной нет ничего общего? Да и была ли она? Или эту страну я выдумал, начитавшись русских философов?

Жизнь менялась, и Саша чувствовал себя лишним в том новом, что окружало его. Ты чужой, как будто говорило это новое — на льдине, которую откололи от берега. Лишность осознавалась легко, она была бесспорной и безутешной, он даже ощущал прилив силы и ясности. Теперь, когда выбор сделан, твои руки развязаны тоже, говорил он. Ты можешь делать, что хочешь, время обнулило ставки. Ничто не связывает меня ни с теми, кто принял «причастие буйвола», ни с теми, кто отказался. Лекцию о Белле и «причастии» он читал студентам, но время переигрывало и Белля, и Сашины представления о нем. Выход из тупика следовало искать на старой фотографии. За куском картонки, засиженным мухами, находилась дверца, ведущая в обход нашего времени. Но куда? Этого я не знал и погружался: сначала в историю прадеда, а потом в Смутное время, без которого нельзя было и шагу ступить в этих костромских дебрях. Чтобы не потерять себя в новом времени, я должен был найти выход. Судьбу или время — я благодарил и то, и то, что все сложилось именно так, иначе я бы никогда не приступил к поискам. А с прошлым, в его горячей прозрачной тьме, освещаемой вспышками интуиции и воображения, можно жить дальше даже в новом времени. Существовать на поверхности с безразличием туриста, например. Пока семья со мной, пока ты пишешь на родном языке, пока есть прошлое — это возможно. И не забывай об отце Сергии, каково пришлось ему. Как нелепы твои страхи по сравнению с тем временем.

Все это Саша рассказывает Юре по дороге в деревню с красивым названием Светочева Гора. Там стоит церковь с допетровскими росписями, которую рекомендовал Зонтиков. Они торопятся, к вечеру надо успеть в Саметь: на пасхальной службе Саша будет звонить на колокольне. От этой мысли он ничего перед собой не видит, а пытается представить,

как это делать и справится ли он. Но воображение ничего не подсказывает. Саша видит только два старых колокола и веревки. Но дальше? Нет и нет. Все должно произойти по неизвестному сценарию.

На обочине вспыхивают бутылочные осколки, и вьется прошлогодняя пыль. Процеженные светом перелески тянутся по холмам как новобранцы. Косо висит в зеркале колоколенка. В пучках травы и норах сереют поля, за которыми рельеф снижается, где-то там Волга. А слева, вибрируя в потоках воздуха, поднимаются трубы ТЭЦ.

Саша рассказывает дальше. Все то время, пока я занимался Саметью, говорит он, я представлял большое семейство введенских поповичей, к корню которых, стало быть, принадлежал и сам, и моя семья. Следовало только отыскать историю этого рода, утвердить ее в уме и сердце. Но не зря считается, если хочешь обмануть судьбу, попробуй себе представить ее. И действительно, по епархиальным спискам выходило, что никакой фамилии Введенских за Саметью до прадеда не значилось, тут служил некий Груздев. Этот факт, что до отца Сергия в Самети подвизались не «наши», не увязывался с тем, что отец моего Сергия тоже был священник, но где тогда? Так в историю вплеталась побочная линия, это был Богословский погост под Нерехтой, где, судя по архивам, служил некий Платон Введенский. Отец Сергий был «Платонович», шансов на ошибку не оставалось, линия Нерехты из побочной превращалась в главную. Мысль о родовом корне бледнела перед мужской родословной, которая упрямо сворачивала туда, куда они с Юрой вчера не доехали. По разбитой дороге эта линия вела в пустое серое поле под таким же пустым синим небом, продуваемым пустым холодным ветром. Все, приехали! — сказал Юра и стал переобуваться в сапоги: идти в деревню за трактором. Так, из-за банального бездорожья, Сашино прошлое осталось неразгаданным и отодвинулось в будущее.

Оно отодвинулось и дальше, поскольку в Москве, рассказывает Саша, я неожиданно обнаружил ответ на вопрос о Груздевых. Смешно, что все это время он находился перед глазами, стоило повесить родословную повыше, просто прилепить скотчем. Там, в самом конце таблицы, то есть в начале, в самом раннем из «потом», куда сумела проникнуть моя мама — линия отца Сергия скрещивалась с женской. Я просто не прочитал в скобках, досадовал Саша-торопыга. А ведь здесь черным по белому сказано, что матушка Екатерина, твоя прабабка, похороненная в ограде церкви, была в девичестве Груздевой, то есть поповской дочкой. А потом просто вышла за «пришлого», получившего приход «в приданое», как предсказывал Зонтиков, и стала Введенской.

Все сходилось и вставало на место. И тут же разваливалось. Кто такие Груздевы, откуда они? И к какому тогда роду причислить себя? Лестница в прошлое делала поворот, опускалась в темноту на один пролет и обрывалась, как мостки, в воду. Как все-таки удивительно устроено сознание человека! Как оно патриархально, добавлю я; как упрямо и слепо выбирает мужскую линию; как машинально вытесняет женскую, обрекая ее на забвение. Как узнать, откуда пришли в Саметь и куда исчезли Груздевы? Так, едва утвердившись, почва снова выскользнула. Это был колодец из бесконечных «потом» и «раньше», и я снова проваливался в него.

«Саметские, зареченские», приговаривала как бы про себя матушка Елена, выслушивая Сашины жалобы на историю. «Они такие». А какие? Это спрашивал Юра. Они сидели в гостях у отца Романа в крошечной «хрущевке» на улице Димитрова и отмечали встречу тушеной картошкой. В тарелке зеленел горошек, селедка была обложена луком, солигалический самогон способствовал. Но Саша забывал про ужин; он рассказывал, что узнал о Введенских и Груздевых, и что на Богословский погост до лета дороги не будет (и что там — неизвестно). И теперь, забыв про селедку, с которой капало масло, вопросительно смотрел на хозяев. Те переглядывались,

никаких Груздевых в Самети ни матушка, ни отец Роман не припоминали, разве что в соседних деревнях. В каких? — спрашивал Саша. Она прижимала пальцы к губам. Каких... Теперь не узнаешь. Как это? Саша смотрел на отца Романа, чей выпуклый лоб от самогона тяжело блестел. Затопили, двигал он бородой — когда плотину построили. Водохранилище. И внутри у Саши что-то сладко обрывалось и тоже тонуло. Они беспомощно молчали.

А какие? — снова спрашивал про саметских Юра. Он разливал, они чокались. Но Саша и так знал, какие. Рассматривая накануне карту, он видел извилистые затоны и проливни, черными разводами и кляксами напозавшие на Саметь по приволжским низинам. Особенно хорошо было видно на спутниковой съемке, как вода, сдерживаемая плотиной, вышла из берегов, затапливая выселенные деревни, среди которых, значит, была и груздевская, то есть еще одна Сашина безымянная родина. А Саметь — нет, ее почему-то пощадили, обнесли дамбой.

Из того, что он знал про Саметь, он знал, что и тогда, и теперь за дамбой — река обрекала зареченских жить своим укладом от паводка к паводку на высокой воде, когда даже избы приходилось ставить на сваях. Саша видел старые фотографии хибар на ножках, они напоминали ему юг, и картинки лодок. За рекой жилось по себе, тут было с чего жить, в плавнях садилась на нерест рыба, а на заливных лугах родился баснословный саметский хмель, не говоря о выгоне, есть даже запись о доставке в Саметь коров из Швейцарии, местные крестьяне выписали их через Петровскую академию, тогда они могли это позволить.

Да, пасти своих овец, машинально повторял Саша. Пасти своих овец. К тому времени он уже знал, что к трехсотлетию дома Романовых прадед воспринял от государя икону Федоровской Богоматери — такими тот одаривал древние костромские храмы, то есть через бабу я нахожусь на расстоянии трех рукопожатий от последнего российского императора, думал Саша. А также от других исторических личностей, добавлю я — например, от товарища Луначарского, который приезжал в Саметь агитировать на гражданскую войну, а потом и от отца народов, и от Берии, и от Калинина, принимавших в Кремле всесоюзную доярку Малинину, крещеную в Самети — кем? — моим прадедом, и только потом, при Советах, вышедшую по колхозным надоям в «большие люди». Или еще раньше? Когда храм относился к Чудову монастырю, а в соседней деревне обретался Гришка Отрепьев? Саша вспоминал одышку Зонтикова. Его медленный, словно из глубины, голос он считал симптомом кессонной болезни времени, куда он, стало быть, напрасно так безоглядно спускался. Саша и сам чувствовал ее в сумерках своей родословной — и дальше, в Смутном времени, которое неизбежно тянулось следом, как тень от тучи, готовой поглотить и недавнее Сашино прошлое, и самого Сашу.

Во второй свой приезд на Крещение, когда я вошел в наш выстуженный храм, когда отец Роман повернул ключ в замке и открыл железную дверь, и ввел меня — я обомлел, я был готов к разрухе и запустению, а увидел мерцающий золотом иконостас и старинные росписи. Я стоял посреди родовой обители и пытался представить, как человек со старой фотографии прикладывался к этим иконам или поднимался на колокольню; как разглядывал реку через окна; я хорошо понимал это и мог представить, но лишь умом, а не сердцем. И тогда я попросился переночевать в храме. Матушка Елена с готовностью постелила там, где ее батюшка часто оставался и сам, чтобы не возвращаться ночью в город. И вот я лежал в этой его каморке за шкафом, набитым сочинениями отцов Церкви, и смотрел в потолок на росписи. «Выход усопших в рай», «Семя жены поразит главу змия»... Засыпая, я злился, ведь я находился в храме, где крестили мою бабу, где... Но ничего, кроме сладкого запаха воска и ладана, я не чувствовал. Теория трех рукопожатий ничего, выходит, не значила.

Белый пятиглавый храм стоит на краю косогора, за ним открывается речная долина и трубы ТЭЦ. Дверь в храм на замке и мы бесцельно бродим по пустой деревне. Она залита холодным солнцем. Облепленные тенями, все предметы вокруг резко очерчены, в голом свете скудость жизни режет глаза. Спросить не у кого, хотя? Но мужик, который моет машину, молча бросает шланг. Через минуту на крыльце появляется старуха. Там — она неопределенно машет. Да нет, не там. Вона, под красной крышей. Где собака, а следующих ихний будет.

Когда мы подъезжаем к дому старосты, на крыльце уже стоит женщина. Вот, говорю, приехали из Москвы посмотреть росписи, а дверь закрыта. Так нельзя ли... Дверь стучает, женщина уходит в дом. Теперь на крыльце молодой человек. Он одет по-городскому: серый костюм, рубашка. Вам же сказали, перебивает он. Нет, настоятель живет в другом месте. Он будет только к началу службы. А Волга? — это спрашивает Юра. Паромная переправа, как проехать? Молодой человек оборачивается: а зачем вам Волга?

Украдем мы, что ли, их Волгу, говорит Юра. Они находят спуск сами и курят на сваях заброшенной переправы. До дневной службы есть время, и Саша продолжает рассказывать о Смутном времени — все то, что держал в уме эти месяцы. Смотри, говорит он, уже через четыре дня после гибели царевича Димитрия в Углич прибывает следственная комиссия. Ее целью было выяснить истинные обстоятельства гибели престолонаследника. Комиссию возглавил князь Василий Шуйский, материалы следствия дошли до наших дней, сомнений в их подлинности нет. По картине, которую можно сложить из свидетельских показаний, восстанавливается едва ли ни поминутный ход событий того дня 15 мая 1591 года. Нам хорошо известно, кто и где находился в момент гибели ребенка, кто и что делал и что видел. Это говорят разные люди, у них разные точки зрения, причем буквально. Но поразительно, с каким однообразием все они, и вдовый поп Огурец, и постельница Марья, и истопник Юшка, завершают показания. «И накололся тем ножиком сам», — говорят они. «И на тот нож сам набурился». «Да ножиком ся сам поколол». Никто не говорит «не знаю» или «плохо видел». «Не могу сказать точно». «Показалось». Сам, сам, сам — твердят они словно под диктовку.

Точного ответа, что произошло в Угличе на самом деле, до сих пор не существует, все, что у нас есть, это только догадки и предположения. В интриге, начатой четыреста лет назад, не поставлена точка. Но произошедшее на княжеском дворе — убийство, несчастный случай или вообще *ничего*, и что оно произошло после — есть ключ к Истории, в этом Саша не сомневается.

Младший сын Ивана Грозного и наследник престола, девятилетний Димитрий с матерью, вдовой Марией Нагой, был удален в Углич на княжение сразу по восшествии на трон Федора Иоанновича, старшего сына Ивана Грозного; точнее, Нагих удалили из Москвы накануне венчания на царство; с почестями, но это была почетная ссылка. Нагие не могли не чувствовать себя униженными этим решением, которое принималось в ближнем царском круге. Точнее, оно исходило от его лидера, шурина нового царя — Бориса Годунова, который шаг за шагом брал дела страны в свои руки. Удаление Нагих было просто мерой предосторожности, чтобы младший не «искал» против старшего.

Как большинство отпрысков Грозного, царевич Димитрий был больным, он страдал эпилепсией. После очередного приступа, когда 15 мая царевичу стало легче, мать взяла его к обедне, а потом и вообще отпустила погулять на двор с «робята жыльцы», то есть с детьми прислуги. Дети играют в тычку, то есть подбрасывает свайку (большой заточенный гвоздь), держа его так, чтобы он перевернулся в воздухе и воткнулся. Во время игры с

царевичем случается припадок. Со свайкой в руке (или на торчащей свайке) — он бьется в конвульсиях. Как это происходит, видит стряпчий Семенка Юдин, стоящий у поставца в «верхних покоях» и глазающий в окно со скуки. С его слов на крики няньки Василины Осиповой первой во двор выбегает мать царевича. В этот момент окровавленный ребенок «еще бысть живу», но вместо того, чтобы спасти сына, Мария принимается колотить няньку поленом, приговаривая «что будто се сын ее и сын Битяговского царевича зарезали».

Битяговские — государев дьяк Михаил и его сын Данило — присланы в Углич для содержания и надзора за уделом и княжеской фамилией. Они отвечают за благополучие княжеского двора. Однако на момент гибели царевича Битяговский с сыном обедают у себя «на подворьишке», и многие могут подтвердить это. У Битяговских алиби, они придут на княжий двор, только слышав набат — вместе со всеми. Первым после Марии на месте событий оказывается ее брат и дядя царевича Михаил. По многочисленным свидетельствам, он «пьян мертв» и приказывает звонить в колокола, «чтоб мир сходился». Об этом свидетельствует стряпчий Субота, это он посылает на колокольню пономаря Огурца; на звон, думая, что пожар, собирается толпа, это посадские люди, чернь; Нагой объявляет им, что царевич убит и это дело рук царевых слуг. В этот момент на дворе появляются отец и сын Битяговские. Они представители власти и первым делом идут в Дьячью избу. Это их «офис», здесь ведется делопроизводство и хранится казна. Затем Битяговский-старший выходит к толпе. Нагой снова призывает «бити его»; это он-де со своим сыном и людьми убили царевича, кричит он. Битяговский отрицает это, говоря, что Нагой потому желает его смерти, что тот знает его тайну, де на подворье у Нагих живет ведун Ондрюшка.

Это серьезное обвинение, ведовство и порча царской семьи приравнялось к государственной измене, но то, чем Битяговский хочет спастись, только приближает его гибель. Они успевают запереться в «офисе», но толпа «высекает» двери и выволакивает их на двор. Через минуту Битяговский «с люди» растерзаны, а Дьячья изба разграблена. Трупы по приказу Нагово сброшены в овраг.

Теперь, что бы ни произошло с царевичем на самом деле, убийство, несчастный случай или *ничего* — убиты два представителя власти, и Нагим ничего не остается, как выдать пьяный погром и убийство за оборону. Они понимают это не сразу, еще сутки-двое они беспробудно пьют, а только протрезвев и составив план действий. Люди Нагих отправляются на двор Битяговских. На уже разграбленном чернью дворе им велено отыскать палицу или «иное оружие», измазать кровью и бросить в ров на тела убитых. Другие же отправлены по дорогам «вестить всяк встречны», что царевич Димитрий зарезан и это дело рук людей Годунова — «Битяговский з сын». Это важный момент, поспешность, с какой Нагие стараются распространить *свою* версию произошедшего, причем не только дома, но и дальше — например, на дипломатическом подворье в Ярославле, куда той же ночью прибывает другой брат Марии, Афанасий, и этот эпизод зафиксирован в дневниках иностранного купца и посланника.

После ознакомления с материалами следствия по делу о гибели царевича у читателя не остается сомнений, что Димитрий, действительно, погиб в результате несчастного случая, который Нагие «представили» как убийство. Именно к такому выводу приходит комиссия и Шуйский. Именно за это Нагих отправляют в ссылку, а Марию постригают в монахини. Именно за участие в пьяном бунте с грабежами и убийствами жестоко наказаны жители Углича и даже колокол, у которого вырван язык и отрезано ухо. Но что-то не дает нам поставить точку. Что-то отравляет нам ощущение истинности произошедшего. Слишком гладко все у Шуйского складывается. Что если он просто поворачивает дело так, как ему выгодно? А что

выгодно Шуйскому? Почему он решил выдать дело за несчастный случай? Чтобы выслужиться, продемонстрировать свою лояльность? Стать полноправным членом ближнего круга?

Брак Ивана Грозного с Нагой не был освящен Церковью, однако в глазах народа царевич Димитрий был наследником трона по праву крови, и это право превосходило мнение Церкви. А Годунов, хоть и со всеми формальностями Земского собора избранный на царство, хоть и при всенародном «призывании» — считался чужаком, узурпатором. Шансов против Димитрия в глазах бояр и народа у него не было. Но давайте вспомним само это время. Годунов только первый среди равных в царском окружении, он только регентствует. Царь Федор Иоаннович умирать не собирается, наоборот, его жена Ирина (сестра Годунова) вот-вот должна родить наследника. Ожидать династического кризиса просто не с чего, царевич и Нагие отходят со своими притязаниями на десятый план. Сейчас они не представляют такой угрозы, чтобы Годунов решил избавиться от них. Они и сами это понимают, призывая в Углич колдунов и гадалей, о которых вспоминает перед гибелью Битяговский — чтобы вызнать, сколько царствовать Федору, например, и долго ли жить новорожденному наследнику. Что вообще ждать Нагим и сколь? Или не ждать? А идти ва-банк, используя любую возможность? Как, например, этот несчастный случай? Поскольку до престолонаследия царевич с его диагнозом может вообще не дожить? И Нагие просто исчезнут с политической сцены?

Если убийство «заказывал» Борис, вряд ли он не подумал об этом, ведь теперь любой несчастный случай, не говоря об убийстве, молва немедленно припишет ему. Ни царства, ни доброго имени ему не видать, с этим приговором он войдет в историю, что и происходит. «Угличское дело» было и для него как гром среди ясного неба. Тогда понятна поспешность Шуйского со следствием — пока мысль об убийстве не укоренилась в массовом сознании. Да и потом, как это сделать технически? На княжьем дворе на глазах у десятка свидетелей... Нет, невозможно. Только если это не провокация. Не инсценировка.

Сашины догадки подобны поиску черных кошек в темной комнате, но попробуем нащупать хоть что-то — исходя из того, кому это выгодно, например. Во-первых, устранение царевича нейтрализовало Нагих, без главного козыря они выбывали из игры. Во-вторых, брошена тень на Годунова. Может быть в том, что Шуйский, представивший дело как несчастный случай и тем самым решивший играть на стороне Бориса, есть подсказка? Против кого, кроме Нагих, он в этом случае выступил? Кого опасался больше Годунова? Ответ прост: тех, кто после царевича стоял ближе всего к трону.

Первая жена Грозного Анастасия, мать царя Федора Иоанновича, в девичестве Захарына, принадлежала именно к такому роду. В истории этот род стал известен под именем Романовых. Племянники Анастасии были двоюродными братьями царю Федору Иоанновичу и могли претендовать на престол по праву родства — а не свойства как в случае с Годуновым. Это право в глазах русского мира считалось преимущественным, а позиция Романовых, стало быть, выигрышной. Единственный, кто мог составить им конкуренцию на выборах — это Димитрий, по крови даже Романовы не могли обойти сына Грозного. А произошедшее в Угличе прекрасно расчищало им дорогу. Теперь они ближе всех к трону (не говоря о князе Шуйском, который пока играет на стороне Бориса, то есть против Романовых). Кто и что бы ни стояло за исчезновением царевича, случай или убийцы, Годунов или Романовы — Романовы одни оставались в выигрыше. Нагие же, обвиняя Годунова, неумышленно или по сговору лили воду на их мельницу — например, в расчете на будущие царские милости, когда Ро-

мановы придут к власти и вернут Нагих в Кремль. Но Шуйский почему-то отказывает и Нагим, и Романовым. Царевич погиб от несчастного случая, утверждает он. Никто не виноват. Тема закрыта.

Во всей этой истории есть одна фигура умолчания и эта фигура, эта пустота — сам царевич. Когда происходит пьяная резня на дворе у Нагих, о нем словно забыто. Что стало с ребенком? Сколько он прожил? Куда его дели? Никто из свидетелей этого «не видит», а те, кто видел — убиты. Сказано лишь, что царевича внесли в храм, а потом прибыла комиссия, и его похоронили. Главные следственные действия (осмотр тела) не запротоколированы. Никто из официальных лиц мертвого тела царевича как будто вообще *не видел*.

Все это Саша рассказывает Юре сначала на переправе, а потом на лавке во дворе храма, где они ждут отца Артемия. Чем дольше они говорят, тем отчетливее Саша чувствует этих людей. Он почти был там и видел, он упустил только последний момент. Что-то отвлекло его, но что? Этого, сколько он ни силился, разглядеть не удастся. Воображение угодливо закрывает картину другими сценами, ему кажется, еще минута, и кто-то из Нагих или Шуйских просто выйдет из той двери; что Огурец смотрит за ними с колокольни, а в прошлогодней листве поблескивает царевичева свайка. И когда калитка во двор стучит, Саша быстро оборачивается.

Это отец Артемий. Священник кивает Саше и Юре, подходит. Юра прикладывает к руке, а Саша неловко тискает ладонь для рукопожатия. Отец Артемий смотрит вопросительно. Саша рассказывает, что из Москвы, но родом отсюда, прадед служил в Самети, вот — ездим, ищем, может, что-то осталось. Зонтиков... Да, отец Артемий знает Зонтикова. Конечно, кивает он. Можно.

Пока он говорит, Саша разглядывает его лицо, оно округлое и белокожее, с редкой, черного волоса бородкой. И брови тоже черные и тонко выгнутые, как на портретах у Пиросмани. Если бы не ряса, он и был бы похож на такую грузинскую картину.

Росписи находятся в летнем храме, сообщает отец Артемий — я открою вам после службы. Она короткая, говорит он и уходит в храм.

Юра заходит следом, а Саша остается на лавке. Как это далеко и как близко, говорит он. Как легко он хотел распутать этот узел. Однако чем глубже он погружается, тем туманнее картина. Сначала все кажется ясным, но стоит приблизиться — и ничего не ясно. Как во сне: чем легче распахивались двери в анфиладе, тем больше их становилось. Саша буквально видит — и этот двор, и этих разъяренных кровью людей. Крики, звон колокола. Но дальше? Пустота. Каждый сочиняет свою историю; сюжет распадается и раскисает. Они выгораживают себя, и с каждой сказкой реальность все меньше просвечивает сквозь вымысел. Они настолько сплетены, что отличить одно от другого уже почти невозможно, вымысел побеждает. Они и сами верят в это, таково первое правило лжесвидетеля — поверить в свою легенду. Нам это хорошо известно уже по нашему времени. Неважно, что случилось в реальности, важно, в чью пользу и как было использовано. Мертвый царевич — прекрасная карта.

Нет, нужно отойти в сторону, взять дистанцию. Те, кто попадают в поле зрения первыми, вряд ли главные. Зачинщика надо искать среди неприметных. Но как отделить «кривых» от «прямых»? Попробуем разобраться, ведь одно преимущество у нас есть: мы знаем, чем все закончилось. Нет, только не Годунов, все во мне протестует. Человека, который сделал себя сам, человека нового времени, человека преждевременного — такого объявить злодеем проще. И как накрепко склеилось, как пропечаталось. Хотя при нем и всеобщее замирение, и первые вольности. «Начаша

от скорби бывшая утешатся и тихо и безмятежно житии». Уж если кто и предвосхитил Петра... И это после грозненских-то оргий. Опора на свободное население. Торговцы, ремесленники. Средний класс. Нет, ненадежная опора. Даже по нашему времени — преждевременная. Когда избирался, требовал соблюсти все формальности. Для первого выборного царя, если ты неродовит, если ты сделал себя сам и если ты хочешь укрепить новую династию — это главное: прозрачность и законность. Заставляет бояр целовать крест, что не будут «искать власти», этот вечный страх нового человека. Чтобы никто и ни в чем не мог обвинить его — поэтому следствие в Угличе и дознание. Он как будто говорит: вот, вот и вот. Но этим людям не важно, что случилось на самом деле. Истинно только то, что играет на руку. Годуновский кружок при Федоре Иоанновиче, с которыми он правил от его имени — те отвернулись от него, как только он «самовыдвинулся». Союзников больше нет, теперь они конкуренты по праву прецедента, источник бесконечных интриг. Не уничтожил сразу, не вырезал вместе с детьми и холопами, как было принято. Великодушные, они же бывшие единомышленники. Действовал по обстоятельствам, не «роняя себя до мщеника», но выжидая случая, когда те начнут первыми, чтобы предъявить настоящее обвинение. Вынужден хитрить и лавировать. «Ни враг его кто наречет сего яко безумна». Контринтрига, встречная игра — его стихия. Человек, обреченный на бесконечное отбивание подачи, ведь источник интриг против себя он сам, а себя не переиграешь. Поэтому и вклады в монастыри, и новое строительство, и словеса на колокольне Ивана Великого. Выводил в свите сына, чтобы приучить к мысли: вот новая династия, вот будущий царь; он будет хорош, как я, он будет лучше. Но им не нужен лучший царь, им даже хороший не нужен, им нужен свой. Жестокий или слабоумный, паралитик или эпилептик, палач или святоша — своего мы принимаем любого, он от Бога, а Богу виднее.

Саша встает со скамейки и обходит храм. Отсюда хорошо видно пойму реки, и как слабо она разлилась этой весной. А трубы поднимаются в небо, как огромные минареты. Или Нагие? Тут хотя бы понятно, размышляет он. Во всяком случае, ситуацию можно представить. Есть свидетельство, что в то воскресное утро Мишка Нагой ходил к Битяговскому просить людей на постройку гуляй-города. Это такая развлекательная машина, крепость на колесах на потеху Димитрию. Но получил отказ. Нет у меня людей, говорит Битяговский. Не дам. Да и вообще, осточертели вы мне, «князья». Все вам не хватает, все мало. Все «дай денег». Везде вам мерещится унижение вашего княжеского величия. А какие вы цари? Только мальчонка, этот действительно весь в отца, звереныш. Битяговский уже докладывал в Москву о его снежных игрищах. Снеговик Бельский, снеговик Мстиславский, снеговик Годунов. Снегурочка Ирина. А потом сабелькой — р-раз! р-раз! Так, мол, обойдусь я с вами, когда на Москве царем сяду. На скотобойне торчит, не выгонишь, насмотрелся. И вот они бранятся. Угрозы, ругань. И Битяговский посылает Мишку к черту. Убирайся, кричит он, совсем распоясался. Ничего не получишь. И Нагово выталкивают. Эта годуновская собака — царицына брата. Да кто он таков перед нами? Все это он говорит брату за обедом, и ярится еще больше. Пьют одну, другую. Нет, пора кончать с этими тварями. Пора... Но тут раздаются крики. Убили! — голосит баба. Уб-и-и-ли!!! Нагой вываливается на двор, лезет в седло. Хотя чего, вон княжий терем. На руках у няньки дергается окровавленный мальчик. Нагой, хоть и пьяный, тут же соображает дело. Прячь его! — орет на бабу. Ну! в дом, быстро! Дура! Звони, Огурец, в свой колокол, время пришло, сейчас поквитаемся.

Или Василий Шуйский? Вот еще персонаж. Аристократ «по отечеству», князь, человек «великой породы». Из немногих, чей род уце-

лел под опричниной, из тех, кто умел приспособиться, прогнуться. Коренной восточно-русский, из Шуи (фамилия). Прямой потомок суздальских князей и Калиты, Борис тут не соперник со своими темными татарскими предками. Тих, до времени угодлив. Предпочитает ждать, не высовываться. Качества, достойные сослужить службу умному, например, Годунову — а Шуйский, если умен, то задним русским умом. Родом и традицией, там его точка опоры. Все остальное — народ, церковь, бог, совесть — относительно. Берет терпением, может долго сносить обиду. Не ищет нового, все, что ему нужно — род — у него есть, это его камень и правда. Но, повторяет Саша, неумен. Тем годуновским, государственным, аналитическим умом, который нужен, чтобы элементарно просчитать последствия. Нет и нет. Дальше собственного носа не видит, большинство стратегических решений, которые он будет принимать во власти, будут хороши «на сейчас», но только навредят в будущем и усугубят Смуту. Он вообще суетлив и неосторожен, когда в игре. Это губит любую интригу, особенно тонкую. Одна из первых ошибок партии Шуйских в «битве престолов» типична для этого клана, они слишком поспешно попытались отодвинуть Годунова от трона. 1587 год, тогда царствовал Федор Иоаннович. Жена, царица Ирина (сестра Годунова), перенесла одни за другими несчастные роды. И в партии Шуйских рождается замысел. Он изящен и, главное, правдоподобен, раз царица бесплодна, надо во избежание династического кризиса миром просить царя «прियाи второй брак, а царицу отпустить в иноческий чин». Расчет понятен, Борис при троне только через сестру. Нет Ирины, нет и Годунова, а новую жену мы ему подберем, какую следует. Но это прошение оскорбительно тем более, что царица беременна и царская семья ждет из Англии опытную акушерку. Составители челобитной обвинены в измене, братья Шуйские сосланы, а Василий спасен только тем, что воеводствует в Смоленске и к делу вроде как не относится. Но через четыре года Борис именно его отправит в Углич на следствие о гибели царевича. И тот свою лояльность доказывает: Борис не виновен, мальчонка погиб в результате несчастного случая, тема закрыта. Хотя кроме Нагих и Шуйского в этой истории никто не знает, что случилось в Угличе на самом деле. Они могли вступить в сговор, о котором нам тоже ничего не известно. В игру мог включиться Федор Романов. Если мальчик выжил, его до времени спрятали, хотя бы в тот же Ярославль, куда примчался ночью брат Афанасий. Не потому ли пятнадцать лет спустя, когда Шуйский пришел к власти, он с легкостью опроверг и себя, и результаты собственного расследования, объявив миру, что мальчик был убит и сделали это люди Годунова? Не потому ли, что никакого мальчика не было? Отличная возможность для маневра, пустая могила. А дальше посмотрим, дальше как карта ляжет.

Эта мысль так нравится Саше, что он забывает собственное мнение о Шуйском как о неумном человеке. Достаточно того, что умны Романовы. И он соображает дальше, он чувствует, что где-то здесь, рядом с мальчиком и Романовыми, в карманах роскошного кафтана Федора Романова — отмычка. Он снова выстраивает схемы. Кто и с кем и против кого. Все, что нужно, чтобы понять логику происходящего, это представить себя в их шкуре. Но как это сделать? Вот Шуйский, он буквально видит его, он является Саше в образе сокурсника, как проворно семенит по коридору этот пухлый человечек — в учебную часть, чтобы оповестить начальство о прогулах группы. Есть что-то бабье во всей его фигуре, не хватает салопа. Или леший. Хотя Шуйскому не позавидуешь, он лежал на плахе и это не была инсценировка, он прощался с жизнью. Решение Самозванца было отозвано в последнюю минуту. С другой стороны, в той карточной партии все играли не на жизнь, а на смерть. Пан или пропал. Или пропал. Шубник, так его называли, он торговал шубами (вспоминает Саша). Смешно, он уже не помнит, о ком речь, о царе или сокурснике. А Годунов попросту

остался один. Никто, кроме Иова, этого последнего из великих патриархов, не прикрывал его спину. «Хитросторойные пронырства бояр» велики суть. И он был вынужден громить — и Шуйских, и Бельских, и Романовых. Не мог вырвать только главного козыря, царевича Димитрия. Список действующих лиц в порядке появления на сцене: Гришка Отрепьев, главный джокер. Они были соседями — Отрепьевы и Шестовы, материнская линия романовской династии. Жены, вдовы, матери, сестры. За кулисами Смутного времени стоят женщины, в этом Саша не сомневается. Отрепьев служил на дворе у Романовых до разгрома и даже бывал в Кремле со свитой. Спасаясь от опалы, он постригся — в Железоборовском монастыре рядом с домом, где они на днях с Юрой были. Но кто подтолкнул его на роль? Без протекции и поддержки он провалился бы. Не Шуйский ли прикрывал его? Уж он-то знал, что случилось в Угличе. Или был реальный, уцелевший в то утро Димитрий? Трудно поверить, чтобы обычный, пусть и небесталаный костромской парень мог проявить чудеса государственной мысли. Изучая его восхождение к власти, ловишь себя на ощущении, что действуют двое, Господин и его Тень, иначе невозможно успеть, сколько они успели. Когда вести о воцарении Лжедмитрия дошли до монастыря, куда был сослан Федор Романов (на дворе у которого служил Гришка) — будущий патриарх Филарет, по воспоминаниям монахов, буквально танцует от радости. Словно то, что он задумывал еще в Угличе с Шуйским, свершилось. Теперь-то меня узнаете, теперь я между вами не тот буду, говорит он. И действительно, как только Димитрий воцаряется, Филарет возвращен из ссылки и возвышен до митрополита. Возвращена из ссылки и Мария Нагая. Сцена воскресения блудного сына: массовка рыдает, «мать» и «сын» шествуют в Кремль под руку; Нагие снова при власти, новый царь словно возвращает кредиты; интрига, начатая Нагими-Шуйскими-Романовыми на угличском подворье, стремительно развивается. Но теперь, когда цель достигнута, когда с династией Годуновых покончено — Лжедмитрий не нужен тоже. Его карты сыграны, и теперь перессориваются те, кто его подготавливал. Шуйского тащат на эшафот за агитацию против своего ставленника. Кто бы он ни был, Гришка или реальный царевич, от него теперь нужно избавиться; он сделал свое дело, он может уходить. Шуйский помилован только затем, чтобы снова устроить переворот. Альфа-агент погибает, его труп, выставленный на обозрение, изуродован, а на лице скоморошья маска. Он уходит в историю безымянным, теперь его точно никто не опознает. На сцене снова Шуйский, это его звездный час. Что первым делом предпринимает незаконно пришедший к власти человек? То же, что и всегда — дискредитирует власть прежнюю. Шуйский вообще хочет убить двух зайцев. На этом этапе ему выгодно союзничать с Романовыми, и он отправляет Филарета в Углич, то есть делает то, что сделал Годунов пятнадцать лет назад с ним самим. В Угличе Филарет должен эксгумировать тело царевича и объявить святым, то есть сделать ровно противоположное тому, что когда-то сделал Шуйский; это навсегда избавит его от призрака Лжедмитрия, легенды о чудесном спасении которого снова гуляют по Москве. Не может же покойник быть одновременно царевичем? Плюс очернит Бориса, поскольку святым может стать лишь невинно убиенный, а никак не эпилептик-самоубийца; этим он вытравит добрую память о годуновском правлении; проклянет выборную власть, от которой на Руси только смута; а Церковь поможет, она теперь карманная; это не годуновский упрямец Иов.

Итак, опять Углич. Все возвращается туда, откуда началось. Но чем уже круг, тем пронзительнее пустота. Нет там никакого царевича, говорит себе Саша. Он это чувствует, эту точку, вокруг которой сжимаются кольца интриги. Потому что, сколько бы они не напирали, они не могут поглотить ее. Это пропасть, куда все домыслы и предположения, все аргументы за и против — просто проваливаются, вылетают в трубу. Если в

истории есть черные дыры, то вот одна: Углич. Бешеное эго страстей, вся эта бесстыжая игра престолов, в которой испачканы кровью и церковь, и народ, и государство — бессильны перед этой точкой. Но почему? Филарет прибывает в Углич с конкретным заданием эксгумировать тело и объявить о святости невинно убиенного отрока. И вот могила разрыта. Чтобы не находилось в гробу, останки мальчика Димитрия пятнадцатилетней давности или еще чьи-то той же давности, положенные вместо уцелевшего царевича, или вообще *ничего* — Филарета это не должно удивить. Об этом он и так знает, и сообщает в Москву то, что от него ждут: мощи найдены нетленными, готовьте канонизацию. А эти кости мы выбросим, пока их никто не видел, и закопаем, как будто ничего не случилось. А потом созовем народ и снова вскроем. Дивись, православные, чудо свершилось, новый святой земли русской явился. И тело мальчика с почестями переносят в Москву. Ты справился, говорит Шуйский Романову. О чудесах исцеления мы позаботимся сами. Артисты уже наняты и ждут в Архангельском.

Теперь, когда схема ясна, до финальной сцены остается один шаг, но как страшно его сделать. Кто был этот мальчик? В могиле — положенный вместо царевича? Где его взяли, в какой голодающей деревне купили? Как увели, как умертвили? Вот тебе конфета, хочешь быть царевичем? Или? Хочу. Иду. Так кому же мы поклоняемся, когда чтим память Димитрия? Как это точно, боже мой, и как страшно. Как это по-русски. Безымянный отрок из неизвестной деревни, святой Аноним. Центральный русский святой.

* * *

На ящике звенят монеты, храм наполняется свечным запахом. Старухи гомонят и шаркают, а молодые смотрят в пол или на огонь. Отец Роман зажигает светильники — лики на потолке оживают. Он уходит в алтарь под их строгими взглядами. А Саша сидит за шкафом. «Выход усопших в рай», «Семя жены поразит главу змия»... Он хочет подойти к матушке, но та с певчими. Саша сидит один, пока не входит священник. Отец Роман в облачении и едва заметно улыбается сквозь бороду. Чего в темноте? Включает настольную лампу. Значит, ровно в полночь, говорит Саша. Да. Они сверяют часы. Только сначала негромко, говорит он. А потом во всю силу. Так чтобы... И отец Роман показывает кулаками. На лестнице поосторожнее, она совсем гнилая. Саша нащупывает в кармане ключ от колокольни. Отец Роман крестит его и возвращается в алтарь. Саша остается один. В этот приезд он не чувствует себя чужим, кое-кого он даже знает, бабу Гелю, например, ее крестил еще отец Сергей, и хромую Валентину на ящике, хотя она смотрит неодобрительно, как будто Саша что-то хочет забрать у них. Хотя среди этих людей ты единственный, кто... Но ему смешны собственные мысли. Ты спрятался от них, говорит он — и малодушно выглядывает из-за шкафа, чтобы позвать Юру. Но поздно, шум стихает, слышен голос отца Романа. Певчие подхватывают, пасхальная служба начинается. Саша слышит голоса, жидковато выводящие «господи помилуй, господи помилуй», и опускает между колен руки. Он снова чувствует себя на льдине, которую оттолкнули от берега. Но в глубине тишина. Так бывает, когда работа проделана и можно поставить точку. Не зря я все-таки вчитывался в историю с царевичем, не зря торговался с призраками. Не зря узнал множество правд, которыми каждый прикрывал свою ложь. Потому что эти призраки и правды делали видимой ту высшую, которая была и не правда уже, а отблеск истины. В этом отблеске заключался ответ не на вопрос Истории, где вымысел всегда переигрывает реальность, а самой жизни, ее движения и роста. Абсурд и оправдание с одинаковым безразличием составляли суть этого движения. Любому, кто вникал в нее, жизнь словно предлагала выбор. Раз после всего человек остается прежним и живет дальше, то смысла нет, говорила она. Или, наоборот, дело в свободе, которая предоставляет всем

людям одинаковые шансы преодолеть себя и время, стать другим. Абсурд и надежда на то, что игра не закончена, не все потеряно — были равноценны трагедии, через которую давались. Они были сторонами одной монеты, и этой монетой была История. Плата казалась непомерно высокой, но человек скорее откажется от жизни, чем от смысла, не потому ли История и двигалась. И храм моего прадеда, и легенды с царскими милостями, и советские казни, и теория «трех рукопожатий» с ее обманчивой близостью — входили в стоимость; как и настоящая близость Времени, которое не исчезает, как ты раньше думал, но откладывается годовыми кольцами, расстояние между которыми кажется огромным, если мыслить его линейно, а на деле ничтожное, века и эпохи от нас буквально через перегородку, через шкаф — как Саша от молящихся, например. Сквозь темную шторку этих перегоронок как через специальный фильтр было хорошо видно контуры того, что ускользало. «Приходите и владейте нами, и казните и милуйте по воле вашей, а мы будем любому покорны, но мы ничего не решаем, мы ни за что не в ответе». Где он вычитал это, в какой летописи? Отказ от свободы выбора между добром и злом; готовность платить за него любую цену. Не презрение или жалость, а смертное, безысходное оцепенение этого отказа. Саша не мог найти этому отказу оправдания ни в одной из известных религиозных доктрин, разве что в исламе, и почему-то вспоминал пестрые росписи, которые они утром видели. Какую пустоту они прикрывали, какую тьму, ужас чего — занавешивали? Оглядываясь на берег, который я покидал на льдине, я спрашивал в пустоту, что же такого было в этом отказе от свободы выбора, чтобы платить за него такую цену? За сколько его продали, этого мальчика, на бычка или овечку выменяли? Где грань, когда человек перестает быть человеком, и сколько невинных жизней за это заплачено? Ведь те, кто теперь пел за шкафом «господи, помилуй», были теми же, кто пел осанну Самозванцу и Отцу народов, кто писал доносы на моего прадеда и других, не принявших «причастие буйвола», и будет писать дальше, уничтожая свободу, то есть самих себя, поскольку без свободы выбора человека не существует. Эти люди словно наказывали себя за то, что появились на свет и существовали; словно сама их жизнь была преступлением. Они словно не желали ее, но хотели смерти. Это была последняя и высшая гордыня безбожников, возвращение билета; это была нация самоубийц, ведь если Бога нет, зачем выбор, зачем жить?

Тумблер с трудом поворачивается. Когда свет вспыхивает, Саша видит, что лестница завалена мотками утеплителя. Ступеньки выпачканы пометом и скользкие. Чтобы освободить руки, Саша зажимает фонарик зубами и поднимается, держась за стены. Кирпич под руками крошится, он слышит свое дыхание и как через перекрытия доносится церковное пение. Ему душно и холодно, но когда голова упирается в люк, в лицо бьет свежий воздух. Саша выбирается наружу. Его тут же обступает огромное невидимое пространство, а жесть грохочет под ногами на всю деревню, на весь мир. Слышно лай собаки. Огоньки деревни, а дальше тьма, это Волга. Ветра нет, в проеме редкие крупные звезды. Несколько минут Саша стоит, вдыхая воздух, а потом смотрит на часы и берется за веревки. Рука скользит, словно веревка намылена. Снова на часы. Пора! Он дергает. Тишина. Он дергает сильнее. Удар оглушает и накрывает как кокон. В этом коконе он не слышит ударов, звон как вода, в которой тонешь. Сначала вразнобой, но потом принаравливается. Ритм. Раз-раз, раз-два-три. И три раза меньшим. И снова. И вместе. В меньший он бьет быстрее, а большим звонит через раз со всей силы. Давай, пономарь Огурец. И ныне, и присно, и во веки веков. За отца Сергия и отца Платона, за Груздевых и все исчезнувшие деревни, Годунова и царевича Димитрия, и Гришку Отрепьева, и безымянного Отрока. Раз, раз, раз-два-три! Но крестный ход уже закончился, последний человек вошел в храм. Саша отпускает мокрые веревки. Не чувствуя ног,

он спускается. Знаками просит сигаретку у паренька, который курит при входе. А когда подносит огонь к лицу, видит, что руки в крови.

ОГОНЬ ЛЮБВИ

Осенью 187* года случилось мне ехать из Нерехты в Кострому по делам наследства. Повозку нашу тащили по разбитой дороге две гнедых с подвязанными хвостами, а на козлах заправлял Устин, неразговорчивый малый, нанятый в городе. С раннего утра зарядивший дождь мелко хлестал лошадиные спины, тучи шли без просвета. Ничто, кроме верстовых столбов да безымянных деревень, не развлекало взгляда. Я поднял верх и закрылся фартуком. Мысли мои были о горячем ужине в губернском трактире или уносились в Москву, где остались матушка и сестры, как вдруг на пригорке показалась белая колокольня.

— Это будет Спас, — ответил на мой вопрос кучер.

— Спас?! — воскликнул я. — Не тот ли это Спас... — И я назвал дедовскую фамилию.

— Так точно, — откликнулся малый, — они самые.

Сельцо Спас принадлежало дядьке моего покойного отца, а моему двоюродному деду Кондратию Львовичу. Он жил тут помещиком в николаевские годы и умер задолго до моего рождения. Никогда не видел я и дочери его Ольги, а моей тетки, почившей бездетною. Спас числился нежилой и запущенной усадьбой, а дела его расстроены. На семейном совете решено было избавиться от него тотчас по вступлении в собственность. Однако дело, казавшееся из Москвы легким, затягивалось. Требования мои либо встречали отпор, либо такую уклончивость, от которой добра было ждать нечего. С тоской отыскивал я взглядом колокольню, которая то показывалась над лесом, то исчезала. Наконец злость и любопытство взяли верх, и на первой развилке я приказал Устину сворачивать.

Дорога повела полем, а потом спустилась в ольховый кустарник к плотине. Не только колокольня, но и целиком церковь теперь открылась взору. Неизвестный архитектор выстроил ее круглой с тремя каменными крыльцами в русском стиле. Кроме двух галок, которые с недовольным криком поднялись с крестов, ничто не приветствовало нашего здесь появления. Повозка стала подле церковных врат, из коих одна решетка висела на петле, а другая отсутствовала вовсе. Чуть поодаль я увидел усадьбу, от которой остался почерневший дымоход да полуразрушенный флигель. Дождь перестал, и я вышел из кибитки. Вымощенный кирпичом двор уводил на заросшую кипреем аллею. Берега яруги, к которой она выходила, были обложены белым камнем, изрядно уже поредевшим, а на пригорке виднелся остов китайской беседки. Что и говорить, невзрачная картина предстала перед моим взором. Выкурив папироску, я вернулся к церкви. Среди могил одно изящное надгробие особенно привлекло мое внимание. Это был каменный, из черного ламбрадора, крест, подле которого сидел, скорбно сложив крылья, беломраморный ангел. Рыжий мох густо покрывал надпись на плите, словно судьба нарочно не желала, чтобы я узнал что-либо.

Неожиданно возница мой кого-то окликнул. Я обернулся и увидел мальчишку. Он бежал к нашему тарантасу, прижимая к животу котомку. Издалека было видно, что лицо его пестро от веснушек, как перепелиное яйцо. Когда я подошел, он назвался сыном здешнего священника. На вопрос мой, где же батюшка, мальчик показал на котомку и ответил, что отец служит не здесь, а в церкви при сельском погосте. А здесь, как барин умер, не служит.

Жили сын и мать поповичи во флигеле, который я сперва принял за разрушенный. Сережа (так звали мальчику) принес ключи и, не спрашивая

нашего желания, отпер один из входов в храм. Я поднялся на крыльцо, вошел и поднял голову. Своды и столбы храма были от пола до потолка тесно покрыты клеймами с живописью. Выполненные в старой манере, они поражали естественностью лиц, особенно среди ветхозаветных сцен об Ионе, Вавилонском столпотворении и царе Давиде, и я невольно засмотрелся на то, что видел. Очнулся я от того, что Сережа знаками звал меня. Перекрестившись, я вошел в алтарь. Сбоку в стене обнаружилась лестница, и мы спустились по ней под землю. Когда Сережа зажег свечку, я увидел просторный зал, посреди которого один к другому жались три небольших надгробия. Это был фамильный склеп, где нашли успокоение мои далекие родственники — Кондратий Львович, супруга его Анна Петровна и дочь их Ольга. Я коротко помолился над их прахом. Отчего жизнь складывается так, что чужое мы знаем как свое, а своего не помним?

— А чье это надгробие с ангелом? — вспомнил я, когда мы вышли.

— Знает папаша, — ответил мальчик.

— Да где же он сейчас?

— Отец Платон на погосте, — ответил тот.

— Далеко ли?

— Да три версты будет.

Любопытство подсказывало, что Спас нельзя покинуть тот час, и я приказал ехать. Усадив мальчишку на козлы, Устин тронул лошадей. Повозка наша снова покатила в дорогу.

Сережа оказался разговорчив и болтал без умолку. Вскоре я узнал, что на плотине хорошая рыбалка; что круглые окна в колокольне остались от курантов, разбившихся об землю в год смерти барина от молнии; что главного святого здешних мест зовут Прокопий Большой Колпак и что приплыл он по Важе в долбленной колоде и до кончины не снимал чугунную шапку. Все это и другое он рассказал, то поворачивая ко мне веснушчатое, как бы смеющееся лицо, то рассеянно, даже с грустью, глядя по сторонам дороги, которая шла то по полю, то отлогими спускам оврагов. Наконец мы увидели рощицу. Пара черных куличков с плачем метнулась в небо, когда мы подъехали. Между липовых макушек показался деревянный купол.

— Здесь, стой! — воскликнул мальчик и спрыгнул в лужу.

Взятые под уздцы, лошади медленно втащили нас по грязи за изгородь. Я завалил отяжелевший верх. Это было кладбище. Могильные кресты тут и там косо торчали меж липовых стволов, а замыкал аллею деревянный храм с позеленевшей от сырости крышей. Над входом теплилась лампада, бросавшая отсветы на икону. Огонек светился и над входом в каменную колокольню, стоявшую отдельно.

— Да где же твой папаша? Или ты все выдумал? — спросил Устин.

Но Сережа не услышал, а схватил котомку и подбежал к колокольне. Из двери в ту же минуту вышел худой высокий старец. Мальчик встал перед отцом, опустив голову, и тот перекрестил соломенную макушку, а потом прижал мальчика к синему своему армяку. Он поправил скуфью и потрепал мальчика по волосам. Я заметил, что старик сильно хромает на правую ногу, которая была у него как будто вывернута, как после ранения или неправильно сросшегося перелома.

Отец Платон отшельничал в той самой колокольне. С изумлением и завистью разглядывал я восьмиугольную каморку, более напоминающую корабельную каюту. В ней не было ничего лишнего. В полумраке виднелась полка с книгами, привешенная у потолка, и темная божница со свечами и иконками. Узкое окно-бойница вело на двор и почти не давало света. Через комнату тянулась труба от железной печи, а над трубой сушилось белье. В стене, завешенная тряпицей, была пробита лестница, ведущая

на звонницу. Это была и келья, и кабинет, и спальня, и кухня. И я вновь испытал странное чувство сожаления и зависти к тому, что видел.

Между тем Сережа принес воды и дров, и вскоре на печи принялся выводить рулады медный чайник. На столе появились пироги с визигой и соленые грузди. Меня усадили к лежанке, а сам отец Платон устроился в кресле, которое было на львиных лапах — видно, осталось от усадебной жизни. Сказавшись случайным путешественником, я расспросил отца Платона о приходе. Он принялся неохотно рассказывать. Да и что может быть интересного на погосте? И вскоре разговор наш свернулся на прежних хозяев. Я наострил уши. Глядя в изможденное лицо священника, по самые губы заросшее волосами, я поражался молодому взгляду его черных, как бы цыганских глаз. Этим взглядом он буквально сверлил и меня, и тех, о ком рассказывал.

Кондратий Львович, покойный владелец усадьбы, был сыном екатерининского гвардейца, вышедшего после Семилетней войны в галицкое воеводство, которое вершил верой и правдой до самого образования нынешних губерний. В юности он отличился в битве народов под Лейпцигом, где показал пользу, проистекавшую от артиллерийской науки, был пожалован орденами и с почетом удалился в родные пенаты, где обустроил жизнь по образцу, подсмотренному в походах. Так появился в Спасе главный дом о шести колоннах с проездными воротами, чугунные решетки на балконах, регулярный парк, пруды и «парнасики». Слыл он человеком суровым, но справедливым, и распорядился двумя тысячами крепостных душ сообразно собственному разумению об их благе. Так, узнав однажды, что в Ивановских его землях проистекает нехватка населения, приказал Кондратий Львович созвать на двор сто холостых парней и девок, венчал их тут же скопом, распределив мордатых к мордытым, а красивых к красивым, а потом приказал выдать «на зубок» по корове и лошади и отправил заселять ивановские пустоши. Эти и другие, совсем уж баснословные слухи, циркулировали большей частью в среде мелкопоместного дворянства, которое Кондратий Львович презирал за бездеятельность и всячески третировал, сутяжничая и разоряя по любому поводу. Что до крестьян уезда, те считали, что для мужика нет лучшей доли, чем жить у Кондратия Львовича за пазухой. Тогда же итальянский архитектор Маринелли возвел в Спасе храм о двенадцати лепестках и колокольню. Была она двадцати трех сажений и слыла самой высокой в округе. Перед алтарем нового храма он велел ископать склеп на три комнаты для будущего упокоения своего, своих домочадцев и многочисленных потомков. Однако судьбе было угодно, чтобы в первых двух браках помещик овдовел бездетным. Молва приписывала бесчадие Кондратия наказанием за грехи сладострастия с крепостными девушками, однако спустя три года новая супруга его Анна Петровна все же понесла и благополучно разрешилась от бремени. Так на свет появилась дочь Ольга. Она росла, не зная заботы и горя, окруженная лучшими учителями и гувернантками, и это для ее утехи появился в саду китайский павильон с эоловыми арфами и пруды, а на антресолях библиотека. Когда же Ольга Кондратьевна вошла в возраст, приличествующий невесте, она была уже настоящая черноглазая красавица.

В уезде нашем существовал обычай на Духов день возить поспевших невест на катание. Так столбовое дворянство и именитое купечество щеголяло друг перед другом богатым выездом. В свое время отвез Ольгу в общество и Кондратий Львович. В тот день заметил он на паперти молодого дворянина в голубом мундире гвардейского прапорщика. Это был Петр Петрович Аристов, сын богатого галицкого помещика, служивший в Петербурге. Когда запряженная шестериком коляска с красавицей Ольгой поравнялась с ним, судьба молодого человека решилась, он влюбился, и Кондратий Львович, зорко смотревший по сторонам, понял это по одному

только его взгляду. А через два дня молодой человек прибыл в Спас с визитом. Он понравился обитателям усадьбы. Анна Петровна, слывшая капризной и злой барыней, нашла его «шарманом», а ее наперсница, приживалка Мелехова, вынула из-за щеки дулю и аттестовала «лямурчиком». Что до Ольги Кондратьевны, она осталась невозмутимой, однако петь перед чаем отказалась и рано удалилась. Через несколько дней Петр Петрович явился в Спас снова. Они уединились с Кондратием Львовичем. Петр Петрович высказал тому свое признание. Когда увидел я существо столь возвышенное над всем земным творением, — сказал он, — биение сердца моего замерло в нерешительности от гибели или блаженства эдемских восторгов... и в том же роде, приличествующем столичному гвардейцу, не чуждому слога. Старый барин слушал внимательно. Он хорошо знал родителей прапорщика, это был именитый и богатый галицкий род, посему предложение Петра Петровича было принято положительно. Свидание отцов состоялось чуть позже и как бы случайно на ярмарке в Галиче. Старики подружились и вскорости навестили друг друга лично. Иван Христофорович угощал Кондратия Львовича крепостным оркестром, который изрядно надсадил тому уши, а Кондратий Львович устроил в честь Ивана Христофоровича такой фейерверк, что галицкий помещик три дня ходил с гудом в голове.

Когда сговор свершился и свадьба была назначена, Петр Петрович засобирился в Петербург по делам отставки. Ольга же Кондратьевна оставалась словно безучастной к собственной участи. Никто не знал тоски, которая поселилась в ее сердце, когда Петр Петрович уединился с батюшкой. Причина этой тоски была любовь, и эта любовь не имела касательства к прапорщику в голубом мундире. Расскажу вам, как открылось это печальное дело. Однажды утром, когда Кондратий Львович по своему обыкновению отправился на конный двор, взору его представилась следующая картина. Увидел он перед парадным крыльцом молодого человека, стоявшего на коленях. Он узнал того, это был сын разорившихся помещиков Лермонтовых, живших неподалеку, дальних родственников знаменитому поэту, который, впрочем, в те годы знаменит еще не был. Предезостный этот Лермонтов не вставая с колен открылся Кондратию Львовичу. Жар моей души невыносим, — воскликнул он, — я не могу жить без любви Ольги Кондратьевны. Я буду стоять на коленях до тех пор, пока не стану обладателем предмета моей страсти или пока несчастная любовь не испепелит меня. Я и Ольга любим друг друга. Прошу вас отдать ее за меня замуж.

Надо знать Кондратия Львовича, чтобы представить бешенство, в которое привели его слова этого решительного, решительно безумного молодого человека. Однако он всего только выпроводил Лермонтова с обещанием дать ответ вскоре. Ничего не говоря Ольге, он вызвал Петра Петровича. Будучи человеком военным, тот положил решить дело разом и на следующий день отправился в имение Лермонтовых. Миром, однако, обойтись им не удалось. Уже через минуту разговора Лермонтов назвал прапорщика «фазаном» и «олухом», а тот парировал «назойливой мухой». Стреляться решили утром следующего дня верхом на конях. Злая судьба преследовала Лермонтова, и он промахнулся, и получил от прапорщика пулю в ногу. Истекающего кровью, его свезли на излечение, а довольный собой прапорщик умчался в Петербург по делам выхода в отставку.

Дело бы забылось, если бы не Ольга, до которой о поединке дошли слухи. Хранившая доселе молчание, она бросилась к ногам отца, умоляя отменить свадьбу и выдать ее за Лермонтова. Так ты любишь этого оборванца! — в бешенстве вскричал помещик. — Не бывать! И приказал слугам не спускать до свадьбы с Ольги глаза. Потянулись мучительные дни домашнего заключения. Петр Петрович все не ехал, свадьба приближалась — как вдруг в одно прекрасное утро помещик увидел в окошке знакомую картину. Оправившись от раны, Лермонтов не только не оставил притязаний, но явился на двор в еще большем исступлении. Правда, стоял он теперь только

на здоровом колене и поддерживал себя палкой. Он снова говорил об жаре души и что не проживет и дня за дверьми дома его избранницы. И пусть огонь несчастной любви испепелит меня, если мы не будем вместе, — добавил он. Ну, так я охлажу твой жар, — пообещал не на шутку обозленный Кондратий Львович и крикнул двух гайдуков. Те спустили молодого человека в подвал, чтобы держать на цепи до тех пор, пока не сыграют свадьбу. И Лермонтов покорно позволил сделать над собой это. Жалобы его родных не изменили барского решения, и пока не состоялась свадьба, Лермонтов сидел взаперти. Молодых венчал костромской архиерей соборно с духовенством, и после всех пиров и визитов Ольга Кондратьевна удалилась с Петром Петровичем в имение Савино, пожалованное молодоженам в приданое.

— Так чей же памятник на кладбище? — нетерпеливо спросил я, выслушав эту трагикомическую, в провинциальном духе, историю.

— Имейте терпение, молодой человек, — ответил старик и вновь словно просверлил меня взглядом черных цыганских глаз. Неспешно нарезав яблоко и побросав гроздья калины, которую принес Сережа, он залил кипятком чайник и продолжил: — Вскоре после свадьбы Ольги, которая покорно жила за Петром Петровичем в Савино, Кондратий Львович ощутил прилив тоски и одиночества, которые раньше ему по складу характера были неведомы. С Анной Петровной у него давно стали нелады, но окончательное отчуждение поселилось между ними только после женитьбы Ольги, и скоро в огромной усадьбе они зажили как соседи. Но любовь, страстная и нежная, все же согрела последние годы жизни помещика. Это была крепостная женщина Липочка. Через год после свадьбы дочери он зажил с ней на своей половине почти в открытую и даже задумал начать бракоразводный процесс с Анной Петровной, чтобы жениться на той, которая к тому времени была от него беременной. Случай пришелся к случаю, из Петербурга доставили в Спас письмо от сильных мира сего друзей Кондратия Львовича, в котором извещали, что жалобе по делу самоуправства над молодым Лермонтовым дан ход и для предотвращения неугодных последствий требуется, чтобы Кондратий Львович лично явился в столицу для улаживания сего крайне щепетильного дела. Так он и поступил. Много не медля, простился он со своей Липочкой, пообещав привезти из Петербурга разрешение на развод, и на рассвете январского дня 183* года выехал в столицу, выслав вперед несколько конных подстав со своими кучерами. Однако в Петербурге завершил он свое дело не слишком благополучно, если не сказать — потерпел фиаско. Его обязали уплатить за оскорбление действием по уговору с пострадавшим, а также дали понять, что развод будет крайне затруднительным, и даже если состоится, о четвертом браке не может идти речи. Раздосадованный такими препятствиями, Кондратий Львович решил сделать хотя бы малое, то есть отпустить Олимпиаду на волю, закрепив за ней сельцо Ступино, о чем в боковом кармане своей дорожной бекешы вез уже оформленный документ. Пасха в тот год была поздняя, и только на Фоминой неделе наш помещик сел на паром, чтобы переправиться на левый берег. В Костроме он остановился в собственном доме, чтобы перевести дух перед последним отрезком дороги. Но отдохнуть ему не пришлось.

И в прежние времена, и в нынешние человек живет-живет себе, имеет далекие намерения и даже бумаги в бекеше, эти самые намерения подтверждающие — а на самом-то деле не знает даже того, что ждет завтра. А день завтрашний приносит с гонцом из Спаса письмо, в котором сообщается, что в пятницу на Страстной неделе ненаглядная его Липочка разрешилась от бремени мертвым младенцем мужского пола, а сама, сутки промаявшись грудницей, отдала Богу душу, не приходя в сознание, и даже похоронена за алтарем усадебного храма. Примчавшись в Спас, Кондратий

Львович уединился на своей половине. Он никого не желал видеть. Через три дня, однако, потребовал он к себе приживалку Анны Петровны — Мелехову. Из-за дверей сперва был слышен только голос барина, и он все более возвышался до грозных окриков. Потом усадьбу пронзил нечеловеческий крик и что-то с грохотом упало. Раздались шаги, дверь распахнулась. В дверях стоял барин с лицом, сведенным судорогой. Гей, нагаек! — зарычал он. К нему бросилось несколько псарей с арапниками. Схватив Мелехову, которая валялась в ногах, они втащили ее обратно в комнату. Растянуть на полу и спустить шкуру, пока не скажет правду, приказал разъяренный помещик. Дверь захлопнулась, и страшные звуки полетели вскоре с барской половины. Это был вой, а потом визгливый кошачий лай, и рык. Все в усадьбе замерло в ужасном ожидании. Зажав уши, обитатели ее попрятались по комнатам. Наконец все стихло, и дверь медленно отворилась. Из кабинета вышли четверо псарей, неся на мокрой простыне разбухшее от крови тело Мелеховой. К барыне! — приказал помещик.

Анна Петровна встретила процессию, стоя у туалетного столика. Она старалась сохранить присутствие духа, но вид растерзанной женщины заставил ее вскрикнуть. Псари вывалили Мелехову на ковер. Говори! — приказал помещик. Но Мелехова только стонала. Стерва! — выругался он. Хлещи по животу! Псари вновь достали арапники, но Мелехова простонала: Скажу... пугала Олимпиаду... сама... Анна Петровна... Душила ее привидением... Помилуйте... Сдайте ее доктору Кораблеву, чтобы пользовал со всею тщательностью, приказал Кондратий Львович. Всем вон!

Что было дальше за закрытой дверью, никто не мог узнать и не смел догадываться. Ближе к ночи помещик приказал подать лошадей и уехал в Савино к дочери. Анна Петровна больше месяца не выходила со своей половины, а когда вышла, отправилась в Сумароковский монастырь на богомолье, а потом в Сенцы, захудалую деревеньку, отписанную ей на проживание. Спас опустел.

История, которая случилась в отсутствие Кондратия Львовича, была в Шекспировом духе, и если бы господин Лесков не сочинил недавно свою леди Макбет, это могла быть вещь в подобном роде. Открылось все, как водится, случайно. Шедший за какой-то надобностью на половину барыни по переходу, специально устроенному в пору их медового месяца, Кондратий Львович обнаружил, что ключ торчит в дверях супруги с внутренней стороны. Будучи погружен в горестные мысли об своей Липочке, он не обратил на то внимания, если бы там же, на ступеньках, не обнаружилась странная баночка. Она была наполовину наполнена жидкостью, в которой что-то плавало. Домашний лекарь, вызванный помещиком, с удивлением признал в баночке свой фосфор, неделю тому назад пропавший. Фосфора было ровно вдвое меньше против прежнего, сказал он. Можно ли этим фосфором незаметно отравить человека? — спросил Кондратий Львович. Ни в коем случае, — возразил лекарь, — отравление фосфором вызывает физические страдания, которые не заметить невозможно, а покойная умерла от испуга, — сказал он. Сильное нервное потрясение вызвало у нее преждевременные роды, а затем горячку. Чего же она могла испугаться? — спросил помещик. Это мне неизвестно, отвечал Кораблев. Беременность, во всяком случае, проистекала нормально, покойница была весела и здорова, о чем я могу твердо свидетельствовать, поскольку визитировал ее по вашему приказанию каждый вечер. Однако... Тут он задумался. Что? — вскричал барин. В ту ночь, сказал он, случился в доме небольшой переполах. Кричали на половине, где жила покойница, а уж потом случилось то, что случилось. Я, заслышав крики, тотчас явился к роженице, но застал ее уже в родильных муках. Она оставалась в беспамятстве до самой смерти и бредила только мертвецом, который приходил к ней в белых одеждах и душил до смерти.

Выслушав доктора, Кондратий Львович уснул его, а сам еще раз вышел в переход. Он обыскал его со свечами и нашел булавку, которой на женской половине обычно закалывают большие отрезки материи. Сопоставив находки и свидетельства, помещик велел звать к себе Мелехову. Та рассказала, что произошло в ту ночь усадьбе. Не желая мириться с Липочкой, этой барской барыней, которая к тому же намеревалась стать законной супругою, Анна Петровна в отчаянии решила действовать. Когда Кондратий Львович уехал, она явилась к роженице ночью, наряженная в белые простыни призраком. Лицо ее было намазано фосфором, который Мелехова стащила у доктора. Склонившись над Липочкой, она принялась душить ее. Та закричала, но потом быстро потеряла сознание от ужаса. В ту же ночь у нее случился выкидыш и, не приходя в сознание, она умерла, поминая в бреду лишь мертвеца и холодные руки. Вот и вся история этой леди Макбет Нерехтского уезда. А спустя год на могиле Липочки появилось то самое надгробие, о котором вы, молодой человек, меня спрашивали. Сам Кондратий Львович недолго прожил у дочери, которую нашел после всего чужой и себе, и Петру Петровичу, жившему отдельно на своей половине совсем как барин в прежние годы, и перебрался в свой дом в Кострому. Сподобил ли его Господь осознать хотя бы на старости лет, что он сделал, и чего уже не воротить? Неизвестно. Долгие годы оставался он еще крепким, хотя и нелюдимым человеком, и прожил бы до глубокой старости, кабы не несчастный случай. Как-то раз, поднимаясь на Молочную гору, кучер его не удержал лошадей, и те понесли к Павловской улице. Там у здания окружного суда как раз выезжал дровяной обоз. От столкновения помещик вывалился и, ударившись головой о каменную тумбу, отдал Богу грешную душу, не приходя в сознание. Тело его поместили в склеп, устроенный в храме, куда через год легла его супруга Анна Петровна, а потом и Ольга Кондратьевна. Ну, да вы их видели, эти могилы...

Священник закончил рассказ и встал.

— Однако уже смеркается, — сказал он, кивнув на дверь, — а вам в дорогу. Мой Сережа покажет, как ехать.

Мы вышли на двор. Во влажных сумерках едва теплилась красная лампадка, это был образ Иоанна Богослова.

— Пойдите! — воскликнул я. — А что стало... с Лермонтовым? Как сложилась его судьба? Что сделал с ним огонь любви?

Но священник только усмехнулся и перекрестил нас.

— Ангела хранителя, — провозгласил он и взмахнул рукой.

Мой Устин натянул вожжи, но я не утерпел и снова задал свой вопрос.

— Вы хотите знать, что с ним стало? — как бы в задумчивости повторил священник. — Нет ничего проще, вы его видите. Я и есть тот самый Лермонтов.

Открыв было рот, чтобы спросить — но о чем? — я мог только всплеснуть руками. Так вот почему, так вот... Однако повозка наша тронулась, и вскоре фигура старика исчезла в глубоких осенних сумерках.

